

В ЧЕСТЬ ЛАУРЕАТА

18 ноября 1987 года в КЛУБЕ-81 состоялся вечер, на который собрались друзья и поклонники поэзии Иосифа Бродского. Скромное помещение клуба не могло вместить всех желающих.

Вечер открыл поэт и критик Эдуард Шнейдерман:

Мое выступление — хочу это подчеркнуть особо — основано на документальной основе; никакие слухи, пересказы с чужих слов, кулачные разговоры и иные подобного рода источники мною не использовались; не касаюсь и творческих вопросов — о них пойдет речь в дальнейших выступлениях.

Присуждение Иосифу Бродскому Нобелевской премии — событие, безусловно, значительное для всей нашей литературы, но прежде всего — для Ленинграда. Потому что Бродский — поэт ленинградский, петербургский не только по месту рождения, но и по самой своей поэтической сути. И то, что сегодня здесь выступят люди, хорошо знавшие его и его стихи в самый трудный, в трагический период его жизни, имеет особое значение.

Ну, в Америке или Европе в связи с этой премией вспомнят, как он читал лекции по литературе в тамошних университетах или стихи в далеко не переполненных залах.

В Ленинграде воспоминания другие — о самом сложном для поэта времени. Прежде всего, конечно, вспоминаются его стихи в его собственном чтении; помнится, как много о них спорили, "принимая" или "не принимая". Не следует впадать в юбилейный экстаз и необходимо помнить, что для одних он был центральной фигурой, даже кумиром, для других — не самой центральной. Но интерес к его стихам, конечно, был широкий, стихи знали все, кто тогда интересовался поэзией.

Впервые я увидел и услышал Бродского 24 февраля 1960 года, на Городском турнире поэтов в ДК Горького. Тогда выступили десятка три поэтов (каждый читал по два стихотворения — таково было условие), — читали, кажется, все, кто в тот момент был сколько-нибудь заметен среди молодых в Ленинграде.

Бродский прочел "Пилигримов" и "Еврейское кладбище". Это

было, может быть, самое яркое событие вечера. Перечитываю сейчас эти стихи, написанные около тридцати лет назад, и вижу, что они ничуть не устарели. Есть в них оправдывающееся во времени предвидение своего поэтического и человеческого пути.

Победители турнира получили в награду книжки. Но были и наказанные – организаторы (за отсутствие бдительности, т.е. предварительной цензуры) и два участника – Александр Морев и Иосиф Бродский, которым на два года запретили публичные чтения.

Одновременно с нарастанием популярности Бродского растет и неприятие его стихов и его самого. Это вылилось в фельетоне А.Ионина, Я.Лернера и М.Медведева "Окололитатурный трутень", опубликованном в "Вечернем Ленинграде" 29 ноября 1963 года. (Между прочим, один из авторов, чуть не главнейший из них, Лернер угодил за какие-то темные махинации на семь лет за решетку). Весь фельетон этот – крепкий настой вранья на злобе. Вот одна фраза, выхваченная наобум: "его стихи представляют смесь из декаденции, модернизма и самой обыкновенной тарабарщины". В вину ставились даже его вельветовые штаны, о которых упоминалось дважды. Но, что гораздо хуже, подлее, – были и политические обвинения, а точнее – политический донос. Через сорок дней, 8 января 1964 года, в той же газете появились отклики читателей под заголовком-призывом: "Тунеядцам не место в городе" (кстати, здесь приводится немало отзывов, написанных в защиту Бродского и его стихов).

Выступления газеты преследовали серьезные цели. Вскоре начался суд над Бродским, проходившим в два приема – 18 февраля, когда заседание прервали, приняв решение о проведении судебно-психиатрической экспертизы, и 13 марта. Это событие коснулось не только самого Бродского, хотя, прежде всего, конечно его, – оно затронуло многих людей. Номиню чувство чего-то мрачного, какой-то всё расширяющейся трещины. Нечто подобное ощутили многие. Кто-то сказал в коридоре суда: "Не каждый день судят поэта". Этот суд останется заметным моментом в истории, если не всей отечественной литературы нашего времени, то уж ленинградской, наверное.

Сохранился потрясающий документ – стенограмма суда, ко-

торую вела Фрида Вигдорова. Стенограмма эта известна многим. Поэтому упомяну о суде лишь вкратце. Вот что бросается в глаза даже неспециалисту:

1. Все шесть свидетелей обвинения увидели Бродского на суде впервые. Каждый начинал свои показания фразой: "Я лично Бродского не знаю, но..." - и принимался клеймить его.

2. Спор во многом шел о том, тунеядец ли Бродский или его переводы могут быть сочтены литературным трудом. Показания свидетелей защиты, а, фактически, экспертов - поэтессы Н.И. Грудининой, литературоведов В.Г.Адмони и Е.Г.Эткинда - не были приняты во внимание ни на грош, как и телеграммы К.Чуковского, С.Маршака, Е.Долматовского. А между тем, эксперты, разбирающиеся в специфике литературного труда, в специфике перевода, были просто необходимы, т.к. суд велся на таком уровне: защитник Тяглы спрашивает: "Где Бродский читал переводы и на каких иностранных языках читал?" Вообще к свидетелям защиты отнеслись с тем таким полным недоверием, словно это соучастники.

3. Характеристика Бродского, предъявленная суду, якобы, от имени комиссии по работе с молодыми Евг.Воеводиным, оказалась фальшивкой, сочиненной им самим.

4. Приговор суда обжалованию не подлежал, как будто это был военно-полевой суд.

Читаешь стенограмму и видишь, что никакие доводы свидетелей защиты и адвоката до судьи не доходят, точно всё предрешено заранее; впечатление такое, что человек просто попал в жернова и они его методично перемалывают. Но оказалось, это крепкий орешек.

Но в подобные жернова попали и свидетели защиты. Об этом необходимо сказать, чтобы видно было, какие круги расходились от так называемого "дела Бродского" на тогдашней тихой воде.

Эти мужественные люди тоже стояли до конца.

На следующий день после суда в "Вечернем Ленинграде", который особенно пристально - я бы сказал: хищно - следил за Бродским, появилось сообщение о суде и о том, что Адмони, Грудинина и Эткинд "с пеной у рта" защищали тунеядца. Назавтра подобная заметка была напечатана в "Смене".

Сразу после окончания суда, - датированное тем же самым

днем! – в Ленинградское отделение Союза писателей было направлено "Частное определение", в котором говорилось: "свидетели защиты пытались представить в суде пошлость и безыдейность его стихов, как талантливое творчество, а самого Бродского как непризнанного гения. Такое поведение Грудининой, Эткинд (так в тексте! – Э.Ш.) и Адмони свидетельствует об отсутствии у них идеальной зоркости и партийной принципиальности". Далее следовало требование обсудить в Союзе писателей свидетелей и "о принятых мерах сообщить суду" в месячный срок.

Через несколько дней по поводу поведения защитников выразила неудовольствие и сессия Дзержинского райисполкома.

Так, с двух сторон, Союз подталкивали к проведению экзекуции. И Союз не подкачал. "Дело защитников" обсуждалось там трижды за одну неделю. Сначала – на собрании, посвященном итогам года. Надо сказать, что здесь "избиения" не получилось: на защиту выступили неоколько " рядовых" писателей – Д.Дар, Н.Долинина, И.Меттер, Э.Линецкая. Тогдашний председатель Союза А.Прокофьев был вне себя из-за того, что сорвали такое важное собрание. Обсуждение перенесли в высшие сферы – на секретариат.

(В чем их обвиняли? – В повторстве тунеядцу, в "гнилом либерализме", в том, что они дерзко выступили на суде от своего имени, не посоветовавшись с руководством Союза).

Вскрылся еще один подлог: секретариату были предъявлены свидетельские показания, переписанные, якобы, с магнитофонной ленты. Однако, когда свидетели потребовали саму ленту, им заявили, что она уже расписана.

"Эткинд" выступает здесь, как пылкая поклонница Бродского, впавшая в транс: перевод Галчинского – "это гениально! Его переводы в книге югославских поэтов – лучшее, что в ней есть! Повторяю, это гениально!": Персонаж, названный "Адмони", говорит еще хлеще, – как балаганный Петрушка: "Я профессор! Кандидат! (так хореем и начинает!). Меня хорошо знают в стране! Я смело утверждаю, что он гениален!" А, судя по стенограмме, слово "гениально" свидетелями защиты на суде не употреблялось ни разу!

Велись записи этой трехразовой проработки, и там немало любопытного. Приведу хотя бы один кусочек, чтобы проиллюстри-

ровать абсурдность происходящего (прошу не забывать, что сейчас будет говорить профессиональный литератор!):

Илья Авраменко: "А не думаете ли вы, товарищи свидетели, защищавшие его, что и работа его в области перевода может быть была ширмой, что ли, за которой он хочет спрятать свое подлинное лицо?! Эти переводы... - может быть, это шпионские шифры? Не думали ли вы об этом, товарищи? Иногда прибегают к зашифровке в переводах!.. И улыбка Грудининой меня удивляет..." (надо запомнить эту тираду! - Авраменко еще сыграет свою роль.)

В результате позиция защитников была осуждена, а Н.Грудинину, выступавшую активнее других, вообще чуть не исключили из Союза. Повторяю, все трое вели себя мужественно, не отступили, не раскаялись. И мы помним судьбу еще раз "пострадавшего", так сказать, за Бродского Е.Г.Эткинда, которого, в конце концов, буквально вынудили уехать.

А теперь о другой истории - о неосуществленном издании сборника "Зимняя почта". Можно сказать, что он снова попал в жернова, на сей раз в издательские.

Рукопись была сдана в ЛО "Советского писателя" в конце 1965 года (по другим сведениям - в начале 1966г.). Через полгода она обсуждалась на редакционном совещании. Что-то такое случилось, что объективность на время восторжествовала. Все шесть (!) присутствовавших здесь редакторов (кроме них был и директор издательства Г.Ф.Кондрашев, но - промолчал), так вот, все шесть человек высказались единодушно: необходимо издать небольшой, в 700 строк, сборник Бродского, ибо, во-первых, у него есть стихи, заслуживающие внимания, а во-вторых, потому что необходимо снять ненужный ажиотаж вокруг его имени.

Дальше всё пошло своим чередом:

- были получены две весьма положительные рецензии Вс.Рождественского и В.Альфонсова;

- состоялась беседа Бродского с гл.редактором издательства М.М.Смирновым;

- Бродским было получено письмо от Смирнова, содержащее предложение что-то в книге сократить и дополнить её стихами с отчетливо выраженным гражданскими мотивами, а также лиричес-

кими стихами о природе Севера (любопытно получилось: человек был сослан на Север, а теперь от него требуют хороших лирических стихов об этом самом Севере. Впрочем, стихи о Севере у Бродского были, — может быть, не прозрачно лирические, — несколько колючие, с жесткими ритмами, но — были).

К весне 1967 года сборник Бродским переделан и вновь сдан в издательство. Машина набирает обороты: заказано еще пять (пять!) рецензий — их пишут В.Панова, В.Шеффнер, С.Ботвинник, С.Владимиров и Л.Рахманов. Каждый судит о стихах по-своему, но все сходятся на том, что книгу издавать надо. Впрочем, "книгу" — оказано слишком громко. Ведь речь идет всего лишь о тоненьком, в 700 строчек, страничек адак на 30, сборничке. И рядом этакой брошюрки совещались, и неоднократно, редакторы, собираясь редсовет, с е м ь довольно маститых писателей писали рецензии, издательство клокотало и волновалось...

Но вот, наконец, в январе 1968 года, издательство сообщило Бродскому, что в феврале с ним будет заключен договор. И тут всё это громоздкое, с таким скрипом проворачивавшееся, тянувшееся три года и три года тянувшее нервы у автора дело лопнуло как мыльный пузырь. Н е к т о (но кто же? кто? — вот что предстоит выяснить будущим исследователям) принял решение не издавать книгу.

...Есть особые специалисты по разгромным рецензиям, — вроде артиллерии главного калибра. Бой кипит, пули свистят, мелкие снаряды рвутся. Но звучит команда, — точная наводка, мощный залп сотрясает землю, пыль поднимается до неба и оседает, — цель накрыта. Тишина. Так произошло со сборником "Лепта", который мы составили и предложили издательству в 1975 году. Сначала были две положительные рецензии. Затем — мощный залп проф. Петра Созонтовича Выходцева — и цель накрыта, сборника как не бывало. То же самое было задумано о "Кругом", но мощный залп Хренкова лишь на время парализовал тогда движение сборника.

Так произошло и с "Зимней почтой". Разгромная рецензия была заказана Илье Авраменко, который "на дух" не выносил Бродского. Рецензент долго не церемонился — мощный залп гремит, то бишь окончательный приговор выносится уже в первом абзаце:

"В стихах И.Бродского нет национальных корней, творчество его - вне традиций русской поэзии". Ну, ясно, куда он клонит и на что намекает... Затем - пыль до неба: "Само собой разумеется, я старался быть объективным в оценке рукописи, несмотря на то, что творчество И.Бродского и по своему духу, и по направленности весьма далеко от моего понимания задач поэзии". Дух оказался не тот. Далее следует несколько страниц построчных замечаний, где несколько верных тонут во множестве нелепых, свидетельствующих о том, что рецензент вообще не врубается в систему письма, в поэтику Бродского. Но это и неважно, - никто ведь оспаривать его мнение не станет! Это тот приговор, который, как и судебный, "обжалованию не подлежит"!

Как бы в насмешку, рецензент "под занавес" отмечает, - так сказать, для пущей объективности, - около десятка стихотворений, которые можно, правда, "с большой доработкой", оставить, - ровно столько, чтобы на сборник - не набралось.

Естественно, что после этого издательству ну ничего уже не оставалось делать, как заявить Бродскому, что договор с ним заключаться не будет.

Поэт пытается выяснить, что стряслось, и пишет письмо одному из членов редсовета: "Я не собираюсь устраивать "ночь длинных ножей", да и вообще поднимать гвалт вокруг этого дела. До сих пор я - так или иначе - но вполне обходился без изобретения Гутенберга. Амбиций не имею никаких. Но мне просто любопытно знать причины столь резкой перемены отношений к книге." Был ли ответ, мне неизвестно.

Вероятно, будь книга издана, судьба Бродского сложилась бы иначе. Но это, как говорится, была бы уже другая повесть.

После отъезда Бродского всё успокоилось. Доходили, порой, его сборники, стихи.. Но официально, в печати - ни звука. И вот однажды его стихи все же прозвучали в Ленинграде публично. Это случилось 19 марта 1985 года в Малом зале филармонии на авторском вечере Бориса Тищенко. Концерт был оригинально задуман: все вещи - 3-я симфония, вокальный цикл и концерт для арфы с оркестром - исполнялись единым потоком, без перерыва. Вокальный цикл "Грустные песни" на стихи разных поэтов был на-

писан еще в 60-е годы. Одна из песен в программе называлась "Прощание", фамилия автора отсутствовала. Раздалось:

Плынет в тоске необъяснимой
Среди кирпичного надсада
Ночной кораблик негасимый
Из Александровского сада...

Это был "Рождественский романс". Так и было, поначалу напечатано в афишах, но потом название заклеили. ^{х)}

Но вот, благодаря присуждению Иосифу Бродскому Нобелевской премии, отношение к нему, кажется, стало меняться. Вероятно, все присутствующие читали в "Московских новостях" (от 08. II) интервью Ч.Айтматова, причислившего поэта "к той когорте, которая сейчас ведущая в советской (!!! - Э.Ш.) поэзии", - заявление неожиданное, но, по нынешним временам, не безумно смехлое. Другое дело, скажи он те же слова года 3-4 назад или более назад! И все же это заявление - показатель того, что что-то в мире меняется, а иногда - даже в лучшую сторону. Вот и Бродского - наконец-то - еще при жизни! - признали на родине и, вроде бы, собираются печатать. Дай-то бог...

Вероятно, закончить мне следует в мажоре. Тогда скажу, что нельзя не преклоняться перед человеком, который столько выдержал - газетную травлю, неправый суд, ссылку, глухое непечатанье, изгнание, - всё выдержал и не сломался, остался собой, остался настоящим поэтом. ^{хх)}

^{х)} Говорят, было еще одно исполнение. К сожалению, мне оно неизвестно.

^{хх)} На другой день после вечера в Клубе-81 пришла весть от К. Кузьминского из Нью-Йорка, датированная 25 окт.:

"Четвертый день селебрируем Оськиного Нобеля - это и ОДИН ИЗ НАС (Исаич и Б.Л. - были, все-таки - из "них"!), в четверг написал статейку в 8,5 стр. (включая комментарии... Забежал Алик Гинзбург. И мы - обнимались и целовались. РАДОВАЛИСЬ.

Радуются тут все - даже Юпп немножко!.. Шемякин рад, как идиот. И я тоже.

Оська - молодцом; на фотоах, в Нью-Йорк Таймс", он похож-на одном - на собственную бабушку, на другом - на Вольтера. Пил в Лондоне с Джоном Ле Карре, когда сообщили. Чувствует себя неважно, но весел, блестяще отвечал репортерам. ПОЭТИЧЕСКИ. В политику не лез - а он в ней никогда и не был."

А. Михайлов /зачитывает рассказ "Небесный гость"/.

"Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать."

И.Бродский

Когда я появился в Ленинграде, меня озадачило название одной улицы.

Неужели в честь Иосифа? Но оказалось, что в честь Исаака. Того самого, что когда-то Иосифа рисовал. Но только совсем не того. А того, что мне нужен, я разыскал через городское справочное бюро. И оказалось, что он прописан на Литейном, примерно в десяти минутах от Комитета государственной безопасности; если пешком. А если на машине, то ~~иниции~~ совсем ерунда. И это очень удобно: не надо трястись через весь город.

Если сравнить наши квартиры, мою и его, то по количеству звонков преимущество будет, пожалуй, на стороне Иосифа. Я отыскал его фамилию и позвонил, и мне открыла уже немолодая женщина, наверно, его мама. Перед тем, как открывать, она могла бы спросить "Кто там?" или, по крайней мере, поглядеть через цепочку в щель. У нас в квартире так бы поступил каждый. Но она отворила сразу, не совсем, правда, решительно и, мне даже показалось, через силу, и тут же всё собой загородила.

Я сказал:

— Здравствуйте. Мне нужен Иосиф... Только вы, пожалуйста, не волнуйтесь... Я на стихи Иосифа подобрал музыку... У меня магнитофон... и я хочу, чтобы Иосиф послушал...

Она на меня внимательно посмотрела и сказала:

— Иосифа сейчас нет дома. Он ушел. Но я вам могу дать телефон.

— А если я приду ещё... попозже...

Она снова забеспокоилась и, увеличив расстояние между моим ботинком и косяком, торопливо возразила:

— Нет, нет. Не надо. Вы лучше позвоните. Иосиф скоро вернется, и я ему передам.

Я её успокоил:

— Конечно, конечно... давайте, я запишу... — и, порывшись в кармане, вытащил авторучку. Я хотел ей еще что-нибудь сказать. Но она уже закрыла дверь, и я спустился по лестнице вниз.

Вечером я позвонил, и мне Иосифа позвали. От волнения у меня заплетался язык.

Я спросил:

— Это Иосиф?

Он ответил:

— Да. Это Иосиф.

Я сказал:

— Здравствуйте.

Он мне тоже сказал:

— Здравствуйте.

Я немного помолчал и испугался, что сейчас он повесит трубку. Но он не повесил. Надо было что-то говорить, и я, наконец, решился:

— Я вас разыскал через адресный стол... я на ваши стихотворения... у меня песни... и я хочу, чтобы вы их послушали. Может, вам что-нибудь понравится.

В трубке продолжали молчать, теперь я уже испугался, что нас разъединили.

И вдруг он предложил:

— Хорошо. Я к вам сегодня приду. Вы где живете?

Это было так неожиданно, что я сразу даже и не понял, о чем он меня спрашивает. И тут меня как-будто прорвало:

— Между Суворовским и Дегтярной... знаете, баня... — я уже чуть ли не кричал. — Невский сто тридцать четыре... квартира один... если смотреть на Лавру, то...

Он меня прервал:

— Я знаю эти дома. Я к вам приду... сейчас сколько... семь... ну, давайте, в восемь.

... Он уже повесил трубку, а я все еще стоял и слушал гудки. Сейчас ко мне в гости придет Иосиф Бродский.

Из комнаты напротив вылезла старуха и заперла свою комнату на ключ. Я думал, она уходит. Но она ведь без пальто. А она

попала на кухню. А, может, в туалет. В это время входная дверь отворилась, и в квартиру вошел дядя Миша. Сразу было видно, что дядя Миша косой. У нас еще, помимо дяди Миши, есть просто Мишка. Он тоже косой. Он сейчас сидит в майке на кухне и смотрит на свою жену. А его жена вместе с остальными стоит возле своей плиты и нервничает.

И вдруг я вспомнил, что я не сказал Иосифу свою фамилию, и теперь, когда он придет, то на какую ему нажимать кнопку?

Что делать? Надо его встретить. Но как же я его узнаю? Ведь я его ни разу не видел.

Я нахлобучил ушанку и посмотрел на себя в зеркало. Интересно, какое я произведу на Бродского впечатление. Надо его чем-нибудь угостить. Я вывернул карманы и подсчитал, сколько у меня денег. Набралось почти два рубля. Хватит на самый паршивый портвейн. А чем же закусывать?

Я открыл холодильник и увидел кусок колбасы, он лежал прямо на решетке. Грамм на восемьдесят. А в скомканной бумажке — граммов пятьдесят масла. И больше ничего. Хлеба тоже почти не осталось. Какие-то огрызки. Но зато целая пачка чаю. Я решил угостить Иосифа чаем.

Я надел пальто и спустился в кондитерский магазин, он как раз под нашей квартирой: ~~у~~ куплю вишневое варенье; но вишневого не оказалось, пришлось купить клюквенное.

Потом я сбежал напротив в булочную и купил за 22 коп. халу, может, Иосиф любит намазывать варенье на булку. Оставалось еще 38 копеек.

Я заскочил в продовольственный и пробежался глазами по прилавкам. В вино-водочном отделе стояли алкаши и выпрашивали у продавщицы бутылку. Водку она уже спрятала, а "бормотуха" кончилась. Я решил купить бутылку лимонада, может, как раз Иосифу захочется.

Осталось 11 копеек, но на них покупать было нечего. Я возвратился к себе в комнату и поглядел на будильник. Уже половина восьмого.

Банку с вареньем я поставил на стол, а лимонад в холодильник. Потом подумал и вытащил. Пускай лучше постоит на подоконнике. В холодильнике он сделается ледяной, и у Иосифа может

заболеть горло.

Я снова оделся и спать вышел на улицу. Я решил Иосифа подсторожить возле входа в подъезд.

На улице была толчая. Все куда-то бежали. Ленинград, хотя в нем и Бродский, всё равно он какой-то каменный.

Я размечтался и прозевал: в подъезд кто-то вошел. Опомнившись, я бросился вслед. Тот, что вошел в подъезд, прислонился к батарее и вытащил из кармана бутылку. Нет. Это не Бродский.

На улице я посмотрел на часы. Уже восемь. Немного постоял и решил снова Иосифу позвонить. Вдруг он еще дома, и тогда я ему скажу свою фамилию.

Я опять поднялся и набрал номер. Но было занято. Я позвонил еще, и снова было занято. Соседка, что напротив, возвратилась с кухни и, не говоря ни^с слова, подошла и уставилась. Я понял, что ей нужен телефон. Я повесил трубку и опять вернулся в комнату.

И вдруг я сообразил, что Иосиф, может, уже стоит на лестничной клетке и не знает, что же ему делать дальше.

Я выскочил в коридор, и в это время во входной двери зашебуршал ключ и в квартиру вошла старуха, уже другая, еще старше той, что говорила по телефону. И вслед за старухой вошел и Бродский, он, и правда, уже давно стоял возле двери и все ждал, когда же, наконец, появится кто-нибудь из нашей квартиры.

Я к нему подбежал и остановился. Он тоже остановился. Я хотел пожать ему руку, но первым постеснялся. Он тоже смущился и сам мне руки не протянул. Старуха проползла к себе.

Когда мы вошли с ним в комнату, то он как-то одним махом скинул с себя пальто и бросил его прямо на холодильник. Ботинки у него были старые, рублей за 12, а кепка примерно за 2.50. Но за то пальтишко приличное, похоже импортное. Кепку он тоже бросил, потом придинул стул, сел, повернулся к стенке, оперся скучой о ладонь и застыл. Мне у него запомнились густые брови и уже лысеющая голова. Я думал, что он более хрупкого телосложения.

Больше всего я боялся, что у меня сломается магнитофон; я песни напел в Москве у друга, а своего магнитофона у меня еще пока нет. Поэтому пришлось взять напрокат. Сначала мне

его не давали — всё требовали паспорт, а паспорт у меня на прописке, ведь я же только поменялся. Тогда я им вытащил военный билет. Но мне всё равно не дали: чтобы получить в Ленинграде что-нибудь напрокат, надо быть в Ленинграде прописанным. Но я ведь уже ленинградец, у меня же обменный ордер! Но мне не дали и всё. Потому что я в Ленинграде не прописан. Пришлось ставить бутылку соседу. И он вместе со мной пошел и взял.

Я включил магнитофон и на магнитофоне запел. Бродский даже не повернулся. Он все так же сидел подбородком на ладони и смотрел в стенку.

"На прощанье — ни звука", — пел я на магнитофоне, — "граммофон за стеной"...

Вдруг он как-будто очнулся и спросил:

— Откуда у вас этот стих?

Я ответил:

— Из вашей книги. — Сразу было видно, что Бродского это заинтересовало. Не что я пою, а что у меня его книга.

Я уточнил:

— Она не у меня, а в Москве. — Магнитофон я, пока мы разговаривали, выключил.

Он поинтересовался:

— А в каком переплете, в мягком?

Я задумался:

— Да вообще-то не книга... просто перепечатано...

Он успокоился и снова повернулся к стенке.

Я на него посмотрел и обратил внимание, что, хотя он со мной сейчас и разговаривает, но сам где-то совсем не здесь. Не то чтобы витает, а наоборот — сосредоточен на какой-то мысли. Я не стал его отвлекать и опять включил магнитофон.

И вдруг я вспомнил, что его надо угостить. Я снова нажал на клавишу и спросил:

— Хотите варенье с чаем? Не любите? Клюквенное. — И повернулся к банке с вареньем.

Он покачал головой:

— Вы знаете, не хочется. Спасибо.

— Я предложил:

— А, может быть, лимонаду?

Он оживился:

— Вот лимонад это другое дело.

Я подошел к подоконнику и отвернул занавеску. Достал из шкафа стакан и, открыв бутылку, протянул стакан Бродскому. Бродский со стаканом в руке запрокинул голову.

Он пил с наслаждением. Он пил, а я на него смотрел. Мне было приятно, что стаканом лимонада я ему доставил такую радость. Гораздо большую, чем своим пением.

Я спросил:

— Ну, как вам песни, не нравятся?

Он ответил:

— Я не совсем это понимаю. Гитара... — он пожал плечами, — какая-то цыганщина. Но, знаете, лезть на стенку не хочется.

Я не понял:

— Как на стенку?

Он объяснил:

— Однажды еду в электричке и вдруг слышу: "Пилигримы"...

Орут на весь вагон... Чуть на ходу не выпрыгнул...

Я удивился:

— Так ведь это же Клячкин! Его музыка...

Бродский насупился:

— Я этому Клячкину когда-нибудь надену гитару на голову...

Я даже растерялся: я думал, что они с Клячкиным чуть ли не кореша. Напару написали "Шествие". Бродский — слова, а Клячкин — музыку. Как Римский-Корсаков с Пушкиным. Недаром же у Клячкина есть песенка, где он поет: "Профessor Римский-Корсаков, вертесь на пьедестале, никак не мог подняться, чтоб руку мне пожать..."

Бродский признался:

— Мне нравится Высоцкий. Больше никто.

Интересно: ВЫСОЦКИЙ и БРОДСКИЙ. Земля и небо.

Я снова включил магнитофон. Бродский протянул мне пустой стакан и опять уставился в стенку. Я пел.

В конце одной песни он меня прервал. Он предупредил:

— Знаете, я вам не советую петь эти строчки. Они касаются

только меня. У вас могут быть неприятности.

(Я как раз спел: "Слава Богу, что я на земле без отчизны остался.")

Я согласился:

- Да... - и замолчал. Потом подумал и добавил:

- Если вам все это не нравится, то я эти песни никому петь не буду. Но я всё равно от них не откажусь. Потому что они мне дороги. Я буду петь их сам себе.

Он улыбнулся:

- Ну, что вы. Пожалуйста, пойте кому угодно. Просто я хочу сказать, что я ничего не понимаю в гитаре. И, к тому же, у меня нет магнитофона.

Я заметил:

- А может у кого-нибудь есть из друзей...

Он отрезал:

- У меня нет друзей.

Я задумался:

А...

Бродский вдруг спросил:

- Вы с какого года?

Я совсем этого не ожидал и как-то засмутился:

- С сорокового.

Он заинтересовался:

- А месяца?

Я уточнил:

- С июля.

Он улыбнулся:

- А я с мая.

Оказывается, мы с ним ровесники.

Он снова поинтересовался:

- А чем занимаетесь?

Я признался:

- Пока ничем. Вот поменялся и возвращаюсь на Север. В Магадан.

- В Магадан? - Бродский удивился, - и вам туда хочется?

Я опять его удивил:

- Да, мне туда хочется.

... Мы всё дослушали, и он встал. Ему уже понадобилось уйти. Мне было жалко с ним расставаться и я спросил:

— А вы мне не можете дать еще какие-нибудь ваши стихи, меня бы это очень поддержало.

Он снова улыбнулся:

— Почему же? Можно, — Потом посмотрел на мою пишущую машинку и задумался.

Я тоже встал. Бродский уже одевался. Он надел кепку и теперь напяливал пальто. Я заметил, что брюки у него тоже старые, даже не брюки, а потрепанные джинсы или что-то вроде этого. После я слышал, что он везде носил кепку, в которой отбывал за тунеядство срок. Как талисман. Он в ней пас коров. Или работал на тракторе. Он был помощником тракториста. "Сельскохозяйственный рабочий Бродский" как он о себе написал в одном из своих стихотворений. Наверно, это как раз и была та самая кепка.

Я тоже оделся, и мы с ним вышли. Человек, которого я чуть было не принял за Бродского, уже набрался и дремал на батарее в какой-то задумчивой позе.

И вдруг Бродский предложил:

— Позвоните мне недели через две, и я вам подберу. Можете перепечатать.

На прощании я хотел ему сказать что-нибудь такое значительное, но так ничего и не придумал.

И вот он уже ушел в своем импортном пальтишке и в своей исторической кепочке, смешался с толпой и растворился.

Я немного постоял, и мне захотелось на Васильевский остров. Я еще там ни разу не был.

Я дошел до метро и проехал две остановки. Поднялся по эскалатору и вылез.

Я думал, Васильевский остров синий. Как у Бродского: "...твой фасад темно-синий я в потемках найду..." А он какой-то бесцветный. Потемки-то, конечно, были, а вот синего фасада нет. И никакого острова. Обыкновенные трамваи. Да грязно-серый снег.

Через неделю я улетел в Магадан, а Бродский через полгода совсем в другом направлении. Чтобы больше никогда не появиться в этих местах.

Т.Никольская:

Я познакомилась со стихами И.Бродского и хотела написать о нем и других молодых поэтах. Адреса его у меня не было. Что делать? Я взяла дома телефонную книгу, там было телефонов Бродских десять, и стала звонить всем подряд. В конце концов, дозвонилась. Подошел Александр Иванович, папа Иосифа. Я ему что-то стала объяснять, а он так иронически: "Вы знаете, Осе много девочек звонит... но, в общем, Вы попали правильно, так что позвоните завтра".

На следующий день я позвонила, подошел Иосиф, и я постаралась объяснить, говорю: "Я хочу написать статью в газету о молодых поэтах. Я слышала Ваши стихи, и о Вас хочу написать тоже". Он говорит: "А в какую? Случайно, не в "Смену"? А тогда, как раз в "Смене" появился фельетон, еще не "Окололитературный трутень" /это было намного позже/, а "Игоги у выгребной ямы", где Иосиф был упомянут в связи с игогами; что он, поэт, дышит по системе игогов, что-то в этом духе. Я говорю: "Нет, в "Комсомольскую правду".". Короче говоря, он меня пригласил в гости, и я пришла в этот знаменитый "дом Мурузи", где в свое время жили Гиппиус и Мережковский, где находился Петроградский Союз поэтов....

Он открыл дверь, провел в комнату, и первый вопрос, который он задал, был такой: "Простите, а сколько Вам лет? Мне тогда было 17 лет, я сказала: "Восемнадцать", а он говорит: "А о ком еще вы хотите писать?" Я говорю: "О Горбовском и о Кушнере". Он сказал, что эта компания вполне достойная, но что, если меня интересуют молодые поэты, он готов назвать имена, о которых еще никто не писал. Это - Евгений Рейн, Анатолий Найман и Дмитрий Бобышев. И говорит: "В следующий раз я дам вам почитать их стихи". Зашел разговор о литературе, он спросил, какие книги я читала, какие мне нравятся, а потом показал "Антологию английской поэзии" /36-го или 37-го года/ и говорит: "Я вам очень советую почитать эту книжку".

Мы договорились, что, скажем, через неделю, я к нему зайду, и зашла. Он почитал вслух и дал мне свои стихи, а также стихи Рейна /как сейчас помню, он читал "Сосед Котов/, Бобышев

ва и Наймана. Мы стали говорить о книгах. Из поэзии XIX века он обратил тогда мое внимание на Вяземского, в частности, на его стихотворение "Жизнь наша в старости - растрепанный халат..." Мы говорили об Экзюпери, тогда ходило по рукам еще не опубликованное "Письмо генералу X", и он очень ценил эту вещь. Также ходили по рукам "Афоризмы" Кафки, и когда он узнал, что я их тоже читала, он обратил внимание на такой афоризм: "Два основных человеческих греха - это нетерпеливость и вялость. Из-за нетерпеливости человек был изгнан из Рая, а из-за вялости он не может туда вернуться."

Так удачно получилось, что в книжной лавке писателей мне как раз удалось купить антологию новой английской поэзии, я её прочитала, постудировала и как-то, будучи у Иосифа, сказала, что прочла эту книгу и что книга замечательная. Он говорит: "Какие Вам стихи больше всего понравились?" А мне тогда очень понравилась баллада Моррисона "Стог сена на болоте". Он говорит: "А как вам Оден?" Я одно стихотворение Одена запомнила: "Что толку поднимать этот крик? Нет, милая, умитесть на миг. Объятий мне больше не надо. Нет. Согрейте мне чая, дайте плед. Вот я, вот ты. Но что из того, что сделаем мы?" А он говорит, что есть лучший перевод этого стихотворения /кажется, Андрея Сергеева/, где последняя строчка такая: "Вот это ты, вот это я. Что будем делать, любовь моя?" Он также обратил мое внимание на Йитиса, которого я совершенно не заметила, и порекомендовал его как замечательного поэта.

Прошло некоторое время, делать, как говорится, нечего: назвался груздем, полезай в кузов - пришлось написать статью о молодых поэтах - Горбовском, Кушнере и Бродском, и послать её в "Комсомольскую правду". Раз уж сказала, что для "Комсомольской правды", надо туда послать. Через несколько недель приходит замечательный ответ: "Уважаемая такая-то, большое Вам спасибо! Мы прочли Вашу статью о молодых поэтах. Хотим Вам сказать, что у нас в редакции уже имеется много статей о молодых поэтах. В ближайшем времени Вы сможете прочесть их в нашей газете". Вот такой был ответ, подписанный неким Ёлкиным.

Потом был суд, на суд мне удалось попасть. Потом Иосиф

был в ссылке, в деревне Наринской. В тот период, когда он был в ссылке, я подружилась с его родителями, Марией Моисеевной и Александром Ивановичем – эта дружба не прекращалась до последних дней их жизни. Ленинград тесен, и чуть ли не в первый мой визит к ним выяснилось, что папа Иосифа работал с моим папой в газете еще во время войны или до войны. После этого он часто повторял: "Таня, почему вы сразу не сказали, кто ваш отец? Я бы тогда не разговаривал с вами, как с очередной Осиной поклонницей!" – это почему-то запомнилось.

Да, еще, среди малоизвестных поэтов, которые очень нравились Иосифу, был тогда Борис Поплавский. Я помню, что мы обменивались стихами Поплавского и много о нем разговаривали. Для Иосифа было характерно, что он через одну литературу как бы читал другую. Конкретный пример. Когда он переводил Т.С. Элиота, он заинтересовался сюжетно "Алкестой" Еврипида. Помню, как-то я пришла, а он только что прочел "Алкесту", и мы обсуждали оригинальный сюжет этой трагедии. Герой, чтобы не умереть, должен найти кого-то, кто согласен умереть вместо него. И вот он приходит к отцу, к матери, а они не хотят за него умирать и, наконец, жена соглашается, а потом всё кончается хорошо.

Предыдущий выступающий упомянул слова Иосифа: "У меня нет друзей". Друзья у него, конечно, были, но очень сильное чувство одиночества у него тоже бывало. Я помню, что всегда удивлялась, когда Иосиф звонит и говорит: "Слушай, если ты найдешь какую-нибудь компанию, где больше четырех человек, возьми меня с собой". Казалось бы, у человека весь город знакомый, куча друзей, и в то же время такое чувство одиночества!

И еще одна деталь, хотя многие из его друзей со мной, возможно, не согласятся. Меня всегда поражала деликатность Иосифа – во всем, даже в мелочах. Как-то мы сидели у него в гостях и пили сухое красное вино. И вот стакан с вином упал. Я говорю: "Ося, где можно тряпку взять, вытереть?" А он говорит: "Ты что, с ума сошла? Не смей!" И мне не позволил вытирать, и сам вытирать не стал, так и осталось.

Некоторые люди на него обижались, ссорились с ним, им казалось, что он им хамил и был неделикатным. А ведь часто

тут была подоплека, о которой они не знали: Иосиф воспринимал мир на нервах. Был такой случай, о котором рассказывал сам Иосиф. Как-то, когда Иосиф был в Москве, известная пушкинистка Эмма Герштейн пригласила его к себе. Она хотела, чтобы он почитал стихи, а он понял так, что она просит приехать, потому что там что-то случилось. Иосиф сорвался, поймал такси, приезжает весь на нервах: "Что случилось, в чем дело?" А она говорит: "Иосиф, мне бы очень хотелось, чтобы вы почитали ваши стихи." И тогда он сказал: "Извините, я не могу", - и ушел. Такие вещи с ним действительно бывали сплошь и рядом.

И, наконец, последняя деталь про его деликатность. Когда его отец, Александр Иванович /два года назад он умер/ лежал в больнице, я его навещала. Не только я, многие друзья Иосифа его навещали. У Иосифа были такие замечательные родители, что друзья Иосифа были и их друзьями – Иосиф уехал, а дом оставил. Я не говорю, что когда я болела, Мария Моисеевна ходила ко мне в реанимацию, бульон готовила. Они вообще любили друзей Иосифа, как своих собственных. Так вот, Александр Иванович лежит в больнице, и тут звонит Иосиф и говорит: "Как там с отцом?" Я отвечаю: так-то и так-то. Он спрашивает: "Ты не знаешь телефон теток?" Я говорю: "Я не знаю, но Александр Иванович сказал, что если что нужно, ты можешь звонить мне". Он говорит: "Знаешь, я не могу – мне неудобно. Давай телефон теток, мне звонить тебе неудобно". Вот эта его деликатность меня всегда поражала.

ВИКТОР КРИВУЛИН:

Сегодняшнего вечера я ожидал, можно сказать, с биением сердца, но пока что, во всем, что здесь звучало, за исключением, пожалуй, фактографического сообщения Э.Шнейдермана, я разочарован. Происходит какая-то очередная мистификация, потому что сегодняшнее праздничное собрание напоминает, скорее, поминальный вечер – вечер памяти поэта, который умер, или погиб, или стал чьей-то жертвой.

В определенном смысле поэт всегда жертвенное животное, но все-таки, пока он еще жив, не следовало бы обряжать его в ритуальные похоронные одежды, ведь не исключено, что скоро он

может появиться в Ленинграде, возможно, даже в сих стенах, сколь бы непригляден ни был их вид.

Когда я шел сюда, зная, что придется выступить, то я думал, что ограничусь воспоминаниями о поэте, которого знал (прошедшее время – не оговорка), хотя и неблизко, которого любил и люблю, хотя и небезоговорочно. Но теперь, когда мемуарная стихия грозит смести всякое представление о живом и действующем поэте, публично вспоминать что-либо о нем на фоне других мемуаристов я считаю излишним. Вероятно, имело бы смысл вспоминать о другом – об атмосфере той эпохи, которую мы, с одной стороны, постепенно забываем, но по которой, с другой стороны, всё сильнееnostalgizируем. Ибо для меня имя Иосифа Бродского – это имя целой эпохи.

До сих пор, к сожалению, не вышло ни одной монографии о творчестве Бродского, хотя кто, как ни он, заслуживает этого – и даже, может быть, не одно – а многотомного исследования, причем не столько даже биографического (а ведь сегодня речь шла только о биографии поэта, что не случайно, поскольку биография Бродского ныне беллетризована, драматизирована и кинематизирована – я имею в виду пьесу, фильм, повесть на сюжет его процесса). Но до сих пор нет ни одного собственно художественного исследования, ни одной фундаментальной работы, посвященной поэтике, стилю, образной системе Бродского.

А между тем, Иосиф Бродский – явление в первую очередь культурное, не столько политико-спекулятивное, сколько духовно-эстетическое, что вовсе не так очевидно, как может показаться, ибо нельзя вспоминать это имя, забывая о пресловутом "деле Бродского". Когда сегодня мы ставим акцент на процессе Бродского, мы оказываемся в положении человека, который в одно и то же время пытается жить и в прошлом и в настоящем. Многие, кого затронуло дело Бродского, еще живы – и поэт остается для них тем же, кем он был 23 года назад, хотя и он и они сами изменились. Но "дело Бродского" есть факт не только истории или приватной судьбы – это факт культуры, это переломный момент в творческой истории поэта.

Дело в том, что после Норинской Бродский стал писать со-

вершенно по-другому, нежели до того, как оказался в 1963 году в следственном изоляторе КГБ. В его творческой истории началась другая эпоха, и теперь перед нами иной Бродский, но чтобы обнаружить это, необходима серьезная академическая монография, которая была бы написана так, как живые университетские специалисты пишут о мертвых — об умерших авторах. О классиках.

Самое поразительное, с чем я столкнулся, впервые услышав Бродского, (и не только у меня это было — у многих моих тогдашних друзей) — реальное ощущение того, что рядом со мной, рядом с нами живет ЖИВОЙ КЛАССИК. Впервые такое ощущение возникло у меня в марте 1959 года (тогда мне было 15, Бродскому — 19 лет), на первом публичном выступлении Иосифа — на турнире поэтов, который проводился во Дворце культуры им. Горького. Если мы теперь думаем о рубеже 50–60-х годов, то водораздел между либералами и консерваторами кажется чем-то очевидным, естественным. Картина тогдашней общественной жизни рисуется так: с одной стороны — носороги-сталинисты, которые травят всё живое и свежее в литературе, с другой — либеральная интеллигенция, которая защищает ценой собственного благополучия всё новое и необычное. Но перед моими глазами стоит такая сценка: Бродский вышел на эстраду и начал читать, а точнее, выкрикивать, петь, задыхаясь и дрожа в конвульсиях, "Еврейское кладбище". И вот реакция тогдашней либеральной интеллигенции: то ли Давид Яковлевич Дар, впоследствии исключенный из Союза писателей, то ли Глеб Сергеевич Семенов, учитель и наставник всех более или менее заметных ленинградцев-поэтов, — не помню, кто из них первый, но оба срываются с места с криком: "Уберите хулигана!" Скандал был как-то мгновенно замят, Бродский продолжал читать и, возможно, не все в зале поняли, что на сцене что-то произошло, но я сидел довольно близко к эстраде...

А что же, собственно, произошло? Зал разделился надвое — и не по принципу либералы-консерваторы, а по какой-то иной, новой черте. Мы — стоящие рядом подростки из Дворца пионеров — просто-напросто обалдели от ощущения новой, неслыханной музыки, эта стихия захватила нас и понесла. Это была наша музыка —

и что, кроме восторга, она могла вызвать? Но помню и первое свое недоумение: почему мой естественный восторг в этом зале далеко не все разделяют? Когда Бродский закончил читать, все долго аплодировали, и я, хлопая в ладони, нечаянно задел чье-то плечо — человек этот обернулся и буквально зашипел на меня, обрушился с немотивированной яростью, ненавистью даже: "Нашел кому хлопать!" Самое удивительное, что этот человек был евреем, и теперь, когда процесс Бродского видится нам как часть антисемитской кампании в культуре, нам трудно себе представить, что при первом знакомстве с его поэзией размежевание публики происходило по иному принципу. В зале были те, кто услышал новую, свою музыку, — и те, кто не просто остался к ней равнодушен, но воспринял ее как нечто враждебное, ненавистное, чуждое.

Потом, когда я впервые — увидел стихи Бродского, я уже не мог отделить их от манеры исполнения, от той особой завораживающей интонации, с какой они произниссились автором: каждый раз, когда я перечитывал их, вновь и вновь оживала первоначальная музыкально-мелодическая волна, захлестнувшая меня в марте 1959 года.

И лишь теперь, перечитывая ранние стихи Бродского, я с ужасом отмечаю, что по мере того, как ослабевает слуховая память об авторском исполнении, стихи как бы обезвоживаются, высыхают — и на первый план выступает не их музыкальная природа, но рациональная, лапидарная до схематизма структура. Именно здесь и для меня, и — думаю — для других поэтов моего поколения начинается то, что можно назвать "парадоксом Бродского". С одной стороны, перед нами жесткая, сбалансированная, выстроенная система, которая с течением времени приобретает всё большую завершенность и самодостаточность, всё большую степень совершенства, граничащего с мертвой красотой, а с другой — невероятно насыщенная и напряженная эмоциональная аура, которая как бы обволакивает эту в чем-то механистическую поэтическую систему. Парадокс этот может быть обозначен сочетанием слов "ЖИВОЙ КЛАССИК".

Тут напрашивается аналогия, которая одновременно и неве-

роятна, и смехотворна, и неточна, но без которой не обойтись, коль скоро речь зашла о "парадоксе Бродского" – аналогия: Бродский – Пушкин. Аналогия эта, однако, при всей своей кощунственности, настолько очевидна, что проясняет не только место Бродского в современной русскоязычной культуре, но и само состояние нашей культуры. Стоит соотнести две эпохи – "золотой век" русской поэзии (начало прошлого столетия) и "бронзовый век" (60-е годы нашего века) – как мы увидим, чем отличается подлинное "цветение культуры" от "попытки расцвести", естественная потребность в расцвете – от волевого усилия к цветению. Дело в том, что Бродский, как никто из нас, обозначил то состояние отечественной культуры, когда она еще не ощущала себя живым организмом, но, с другой стороны, настаивала на том, что она есть живой организм и имеет право на собственное существование. Соотнося Бродского и Пушкина, я вижу двух великих поэтов, но если величие второго из них, так сказать, содержательно, сущностно, то величие первого есть прежде всего воля к величию, постоянное отстаивание права человека "быть великим" – независимо от содержания творческой работы.

И всё же чувство, что Бродский – поэт, стоящий (по праву!) в одном ряду с Пушкиным, сопровождает меня всю жизнь.

1962 год. Лето. Ночь. Я гуляю с друзьями по Литейному проспекту. Мы возле "дома Мурузи", где живет Бродский. У кого-то возникла идея: "А давайте-ка пойдем от дома Бродского к дому Блока!" Ничего кощунственного, ничего страшного для меня в сопоставлении двух этих имен нет. Они явления, лежащие в одной плоскости. Бродскому в этот момент 22 года.

Похожее ощущение сохранилось у меня от разговора с Анной Ахматовой, который случился спустя год, летом 63. Ахматова роняет такую фразу: "Вы даже представить не можете, какой расцвет поэзии ожидает Россию". Я спрашиваю: "Ну, а кто, какие поэты, как Вы считаете?" "Бродский". "А еще кто?" "Бродский. Разве этого недостаточно?" Инными словами, даже в глазах Ахматовой Бродский стал знаком того, что поэзия в России может жить, может развиваться, может стать полноправным явлением в ряду высочайших достижений мировой культуры.

И ведь не то чтобы в стихах Бродского обнаруживались не-

кие новые смыслы – самое удивительное, что значительность их не определяется содержанием высказывания, не тем, что говорит поэт. Если читать их внимательно, то и дело обнаруживаешь три-виальные ходы, общие места, длинноты, анахронизмы, обнажается рациональная природа композиции, поражает схематизм в развитии поэтической мысли. Даже в его шедеврах – скажем, в рекордном, по словам Хейфица, "Рождественском романсе" – есть налет этой рациональности, этой избыточной симметрии. То есть, мы – я имею в виду поколение 60-х годов – любили стихи Бродского не за их содержание и не за их форму – но за то неоформленное, энергетически заряженное начало, которое, подобно светящемуся облаку, сопровождало слова поэта. Этим "свечением" сопровождалось любое его чтение, но сейчас он читает свои стихи по-другому, более, что ли, содержательно. Я жалею, что не смог найти для сегодняшнего вечера пленку с записями чтений Бродского в начале 60-х годов, хотя и подозреваю, что в механической магнитозаписи могла и не сохраниться та могучая музыкальная волна, которая охватывала слушателей при живом контакте с Поэтом. Музыка возникала не в самих стихах – музыка рождалась от столкновения голоса, самой фигуры Поэта с аудиторией, причем не обязательно с подготовленной аудиторией, состоящей из "любителей поэзии", – с любой аудиторией. Перед нами было чудо, как бы разыгрывалась некая мистерия, возникшая в результате слияния судьбы и дарования. Голос стал чем-то равнозначным судьбе. Позднее (вероятно, с середины 60-х годов) стихи Бродского изменили своей голосовой природе, зрительное, "немое" начало все сильнее определяет их смысл. Не утратив присущей Бродскому интонации, они в значительной степени эволюционировали из по преимуществу звучащих в читаемые, зримые. Интонация знакомая, но она как бы превратилась из мелодической нитки в нотную запись, и вообще при чтении последних стихов Бродского возникает впечатление, что звуковая стихия отслаивается от его голоса, уходит, а для него самого (стало быть и для нас, его читателей) важны и значимы совсем иные вещи.

Но в те времена, в начале 60-х, Бродский явился как зри-мое и звучащее воплощение некоей "новой духовности"... Вот

произному сейчас это слово - "духовность" - и с раздражением отмечаю, что за то время, которое минуло с 1962 года (за 25 лет), понятие "духовность" приобрело черты обрезгости, заматерелости, что ли. Оно употребляется нынче в применении к чему угодно, да и означает неизвестно что. Скажем, какой-нибудь там Феликс Кузнецов может, не особо затрудняясь выбором слов, написать: "Духовность современной советской литературы заключается в том-то и в том-то..." Но четверть века назад, когда только начинала звучать лира Бродского, "духовность" была понятием не только просто значимым, но едва ли не ключевым в том смысле, в каком слово "ключ" употребляется применительно к музыке. Конкретное содержание этого понятия трудно было определить, сформулировать - но очертить его было легко. И мы ясно различали и жестко разделяли, с одной стороны, свое, то есть "духовное", а с другой - чужое, несвое, то есть "бездуховное". В этом смысле бездуховной для нас была, скажем, практически вся официозная ленинградская литература, исходящая от местного совписа, ибо когда высоко интеллигентный, но воспитанный в стенах Дома Маяковского Глеб Семенов, увидев в Бродском литературного хулигана, он проявил безошибочную интуицию: в тот момент жизни Г.Семенова Бродский был для него не просто чужд, но и враждебен.

Иосиф Бродский казался нам пророком именно потому, что вокруг него возникала световая аура "новой духовности". И мы ждали от него не только 'музыки', но и нового смысла, нового слова.

Новый смысл появился, но не тот, какого мы ждали. Бродский действительно оказался пророком - но пророком лишь относительно себя, своей жизни, своей судьбы и своего места в истории литературы; тогда как мы видели в нем поначалу поэта, способного возвестить некое полное перерождение всего смысла нашей жизни, предчувствующего какой-то новый эон нашей истории, подобно, скажем, Блоку, который провидел сквозь свои "зори" и прозрачный фантом Прекрасной Дамы, контуры будущей России и обновленного человечества.

Готовясь к сегодняшнему вечеру, я пересмотрел большую часть написанного Бродским, и меня поразило, насколько устойчи-

во звучит в его поэзии одна нота - тема собственной избранности, тема собственной судьбы, и здесь он способен провидеть - но провидеть лишь то, что произойдет с ним самим. Здесь, пожалуй, уместно вернуться к теме Пушкина: мы знаем, какой болезненный интерес испытывал Пушкин к гаданиям и предсказаниям, но скорее, это был факт его человеческой, а не писательской биографии (исключение - "Песнь о вещем Олеге".) Оправданные предчувствия и "вещие сны" часты в его поэзии, но сопоставимы с его собственной судьбой лишь весьма опосредовано. У Бродского же система опосредований гораздо более прозрачна, и "свое", личное, зачастую слишком легко прочитывается сквозь "чужое", странное.

И уж поскольку тема "Бродский и Пушкин" зазвучала вновь, мне хочется обратить внимание на иной ее аспект. В 1977 году в к "Вестнике РСХД" была опубликована статья за подпись Д.С. Статья эта так и называлась: "Бродский и Пушкин". Написанная бегло, почти конспективно, она соотносила две биографии, сопоставляя даты - и оказывалось, что переломные жизненные вехи приходятся у Бродского и у Пушкина примерно на одни и те же годы жизни. Сопоставлялась поэтика Бродского и поэтика Пушкина, прослеживались и другие черты сходства. Мне бы хотелось обратить внимание на сходство самое радикальное. Дело в том, что и Бродский, и Пушкин, осознавая себя личностями уникальными, ощущали необходимость как-то скрыть эту уникальность - необходимость в маске.

В редчайшие (может быть - наиболее судьбоносные) моменты истории русской литературы появляются поэты, которые испытывают нужду в беспрерывной смене масок, в том, чтобы выглядеть не так, как выглядят они "в действительности". Становится возможным говорить о РОЛЕВОЙ ЛИРИКЕ. Фактически, сквозной мотив поэзии Бродского, начиная с "Шествия", - это разыгрывание себя в разных лицах, своего рода самомистификация. В юношеском предисловии к "Шествию" поэт обозначил это как "персонификацию представлений о мире", и действительно "Шествие" представляет собой мистерию, где действуют Король, Дон Кихот, Лжец и другие персонажи, но за ними стоит человек - автор. Маски Пушкина общеизвестны: Алеко, Андре Шенье, греческий певец Арион,

в какой-то степени Пророк из одноименного стихотворения, в известной мере Евгений из "Медного Всадника" и так далее – так Пушкин маскирует свою биографию, проигрывает разные варианты жизни и судьбы. Арсенал масок у Бродского не менее разнообразен. Здесь и грек, который сбоку, со стороны наблюдает всё, что происходит в провинциальном римском городке, куда приезжает император; здесь и подобный Цинцинату автор римских писем, и барочный поэт Джон Донн, и морской лейтенант – герой "Нового Жюль Верна"... перечисление можно продолжать до сказочно долго. Итак, маски...

Второе. Поскольку есть маски, то возникает и необходимость в обратном – в прямом, жестком и узнаваемом высказывании, то есть нужда в произведении, которое бы, как тавро, припечатало те смыслы, внутри которых обретается поэт. Я имею в виду поздние стихи Пушкина с "открытой поэтикой", скажем, такие как "Ответ анониму", и соответственно, "Речь о пролитом молоке" у Бродского.

Третье. Жанровая и лексическая экспансия. Что же пришло с Бродским кроме музыки? Произошла, может быть, впервые за пятьдесят лет попытка написать историю отдельной человеческой жизни, как некое эпическое полотно, как существенную часть макрокосма. Бродский предпринимает рискованную экспансию и традиционные жанры. Целый ряд поэм: "Петербургский роман", "Гость" и "Шествие", неоконченная поэма "Зофия" – вот первонаучальные подходы и попытки создать новый эпос. Попытки, в каком-то смысле аналогичные той попытке русской романтической поэзии, которую предпринимает Пушкин, находясь именно в том возрасте, в каком Бродский на момент создания своих поэм. И вдруг – отход от всего этого, нежданный переход на другие регистры – и у Пушкина и у Бродского.

Затем, языковая экспансия. Мы воспринимаем Бродского, как русскоязычного поэта, забывая о том, что он занимает в литературе ХХ века то же место, которое Пушкин занимал в литературе прошлого века, по крайней мере, в одном отношении. Как известно, Пушкин называл себя не "премьер-министром", а "министром иностранных дел" русской словесности. Функция Бродского, специфика Бродского – в том, что он адаптирует для

русского советского читателя достижения новой англо-язычной поэзии /Одена, Дилана Томаса, У.Б.Йетса, Элиота/. Здесь его самые мощные поэтические прорывы. Именно Бродский расширяет горизонт русского поэтического слова, насищенно суженный к пятидесятим годам до состояния твардовского и маршака, когда всё новое в поэзии отправляли учиться "у классиков" и когда нам было совершенно неведомо происходившее в западной литературе движение.

И, наконец, последнее, что сближает Пушкина и Бродского, но одновременно представляет наибольшую опасность для Бродского, как живого поэта. Это понятие о ряде. Когда я говорил: Пушкин и Бродский, Блок и Бродский, я имел в виду ощущение некой интенции, направленности, которая исходила из самой личности Бродского. Тут до меня предавались замечательным воспоминаниям о Бродском... И действительно, Бродский не лгал, когда сказал совершенно незнакомому человеку, что у него нет друзей. Не лгал, потому, что всегда, даже с ближайшими друзьями, он сохранял или стремился сохранить определенную дистанцию. Не то, чтобы у него не было друзей, верней, не то, чтобы не было людей, которые не считали бы Бродского своим другом, но ощущение того, что в любой ситуации он выше частных отношений и в любой, даже самой интимной ситуации поступает как Поэт, и каждый его поступок есть факт его биографии – это ощущение постоянно присутствует – чем бы он ни занимался, что бы он ни делал. А такая позиция имеет свои издержки. И прежде всего результатом ее было то, что у Бродского возникло некое, я бы сказал общеармейское представление о том, что литература есть иерархия. Вообще, армейская символика проникает в нашу речь и даже в наше сознание гораздо глубже, чем нам самим кажется. Я могу привести следующий разговор с Бродским. "Поэта, – говорил он, – можно сравнить с танком. Поэт должен переть, как танк, главное – энергия... Даже не как танк, а как танковая армия! Поэт – это танковая армия". Это было сказано задолго до того, как советские танки вошли в Прагу.

Идея экспансии поэта в жизнь – замечательная идея, но она приводит к тому, что Бродский постоянно стремится сохранить себя на почти недосягаемом, заранее заданном нравственно-литера-

турном уровне, опасаясь оказаться ниже той планки, которую сам поднял, может быть, слишком высоко. Подобно Маяковскому, он при жизни начинает бронзоветь, превращаясь в памятник самому себе, а это, как известно, действует на живую кожу омертвляюще.

Тема славы – центральная в поэзии раннего Бродского, позднее, она приглушается, "Памятник" – одно из первых его стихотворений – о памятнике Пушкину, но естественно, не только и даже не столько о пушкинском памятнике. Если не ошибаюсь, стихотворение, написанное в 1958 18-летним поэтом, открывает сквозную "памятниковую" линию в поэзии Бродского. И если Пушкин "Памятником" заканчивает свой путь, то Бродский начинает с "Памятника". Равличие, которое не менее важно и значимо, нежели сходство.

Может быть, именно поэтому о Бродском с самого начала его пути стало возможно думать и говорить как о ЖИВОМ КЛАССИКЕ. Иными словами – как о живом памятнике. Для меня это, пожалуй, наиболее трагическое обстоятельство в его судьбе, хотя говорить о нем иначе, нежели как о живом мертвом поэте, практически невозможно, особенно теперь, после "матерьяльного обронзования", чем явились для него Нобелевская премия.

Что значит "живой мертвый поэт"? Для меня здесь возникает новый неразрешимый парадокс, связанный, правда, с "новым" Бродским. Чем мертвее и бесстрастнее его стихи, написанные в эмиграции – тем ощущимее в них интимное, живое, мучительное, тем определеннее их герой, тем они человечнее. Чем более герметична система, которая надежно защищает поэтический мир Бродского от внешнего мира, чем избирательней и жестче относится он к словесной форме, чем с большей силой он обрушивает на поэзию свое представление о милитарности литературной иерархии, тем обнаженнее и беззащитнее герой его стихов.

Бродский на Западе (а мы, знавшие его здесь, до сих пор не до конца свыклись с его нынешним местоположением) – на Западе он всего лишь частный человек, господин в плаще, ненужный иностранец в Венеции, зачем-то практикующий свои виртуозные словесные игры на непонятном языке. Человек, заживо заключенный в омертвевающую поэтическую форму.

А между тем, здесь, на Незападе, произошло в его отсутствие следующее: новое поколение поэтов, воспитанных на поэзии Бродского (в основном ленинградцы, но и некоторые москвищи тоже), оказалось чем-то вроде билиардного шара, который начал свое движение от "удара Бродского". И момент удара, момент наивысшего влияния Бродского остался в прошлом. Была точка, общая для нас и для Бродского, но дальше путь Бродского и пути новой отечественной поэзии разошлись. Разошлись, начиная с самого трагического момента его жизни, с того момента, когда его судьба стала историческим фактом, а сам он превратился в классический образец гения, не признанного и гонимого обществом. Именно в этой временной точке, зимой 64-го года, после распространения стенограммы процесса, сделанной Фридой Вигдоровой, Бродский и стал поэтом, который занял собственную нишу в истории русской поэзии, сам сделался историей её — независимо от того, что он напишет в будущем (а я убежден, что чем дальше, тем лучше и совершенней он будет писать, по крайней мере, в формальном смысле) — и в этот самый момент он как бы разорвал живую связь со своими современниками и соотечественниками.

Разрыв не сразу стал ощутим. Вернувшись из ссылки, при всем своем видимом равнодушии к официальной советской поэзии, Бродский продолжал ревниво следить за ее движением. Ежегодно он прочитывал от корки до корки такие издания, как убогий ленинградский "День поэзии" и еще более гнусный "Молодой Ленинград", приходил в Дом Маяковского на показательные чтения участников конференций молодых писателей Северо-Запада, пролистывал самиздатские рукописи стихов — как бы чего-то ища и не находя. Но он был уже не здесь, хотя сам, быть может, еще не мог примириться с этой новой возможностью.

И наконец, он выбрал: он стал в полном смысле "русским мировым поэтом". Выигрывает ли от этого русская поэзия? Не знаю. Я думаю, что сейчас, когда мы чувствуем Бродского, когда говорим о Бродском — о том, казалось бы, Бродском, который удостоился Нобелевской премии — мы на самом деле имеем в виду другого поэта — Бродского 60-х годов, когда он был еще связан с нами прочными общими корнями. Но он стал поэтом мирового

масштаба не здесь, а в Америке. Впрочем, это тема следующего, гораздо более серьезного разговора.

Чтобы проиллюстрировать, что произошло с Бродским в Штатах, я просто прочту одно из моих любимых стихотворений, которое написано сравнительно недавно, в конце 70-х годов - "Новый Жюль Верн". Прошу обратить внимание, что чудовищного осьминога, поглотившего лайнер, зовут Ося, то есть Иосиф.

НОВЫЙ ЖЮЛЬ ВЕРН

Л. и Н.Лифшиц

I

Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна.
Корвет разрезает волны профилем Франца Листа.
Поскрипывают канаты. Голая обезьяна
с криком выскакивает из кабинки натуралиста.

Рядом плывут дельфины. Как однажды заметил кто-то,
только бутылки в баре хорошо переносят качку.
Ветер относит в сторону окончание анекдота,
и капитан бросается с кулаками на мачту.

Порою из кают-компании раздаются аккорды последней вещицы
Брамса

Штурман играет циркулем, задумавшись над прямой
линией курса. И в подзорной трубе пространство
впереди
быстро смешивается с оставшимся за кормой.

II

Пассажир отличается от матроса
шорохом шелкового белья,
условиями питания и жилья,
повтореньем какого-нибудь бессмысленного вопроса.

Матрос отличается от лейтенанта
отсутствием эполет,

количество лет,
нервами перекрученными на манер каната.

Лейтенант отличается от капитана
нашивками, выражением глаз,
фотокарточкой Бланш или Франсуаз,
чтением "Критики Чистого Разума", Мопассана и "Капитала".

Капитан отличается от Адмиралтейства
одинокими мыслями о себе,
отвращением к синеве,
воспоминанием о длинном уик-енде, проведенном в именье тестя.

И только корабль не отличается от корабля.
Переваливаясь на волнах, корабль
выглядит одновременно как дерево и журавль,
из-под ног у которых ушла земля.

III

Разговор в Кают-Компании

"Конечно, Эрц-герцог монстр! но как следует разобраться -
нельзя не признать за ним некоторых заслуг..."

"Рабы обсуждают господ. Господа обсуждают рабство.
Какой-то порочный круг!" "Нет, спасательный круг!"

"Восхитительный херес!" "Я всю ночь не могла уснуть.
Это жуткое солнце: я согла себе плечи".

"...а если открылась течь? я читал, что бывают течи.
Представьте себе, что открылась течь, и мы стали тонуть!"

Вам случалось тонуть, лейтенант?" "Никогда. Но акула меня
кусала".

"Да? любопытно... Но представьте, что - течь... И представьте
себе..."

"Что ж, может это заставит подняться на палубу даму в I2-б".

"Кто она?" "Это дочь генерал-губернатора, плывущая в Кюрасао".

IV

Разговоры на падубе

"Я, профессор, тоже в молодости мечтал
открыть какой-нибудь остров, зверушку или бациллу".
"И что же вам помешало?" "Наука мне не под силу,
И потом - тити-мити". "Простите?" "Э-э... презренный металл".

"Человек, он есть кто? Он - вообще - комар!"
"А скажите, месье, в России у вас, что - тоже есть резина?"
"Вольдемар, перестаньте! Вы кусаетесь, Вольдемар!
Не забывайте, что я..." "Простите меня, кузина".

"Слыши, кореш?" "Чего?" "Чего это там вдали?"
"Где?" Да справа по борту". "Не вижу." "Вон там." "Ах, это.." "Вроде бы кит. Завернуть не найдется?" "Не-а, одна газета...
Но Оно увеличивается! Смотри!.. Оно увеличилось!"

У

Море гораздо разнообразнее суши.
Интереснее, чем что-либо.
Изнутри, как и снаружи. Рыба
интереснее груши.

На земле существуют четыре стены и крыша.
Мы боимся волка или медведя.
Медведя, однако, меньше и зовем его "Миша".
▲ если хватает воображенья - "Федя".

Ничего подобного не происходит в море.
Кита в его первозданном, диком
виде не трогает имя Бори.
Лучше звать его Диком.

Море полно сюрпризов, которые неприятны.
Многим из них не отыскать причину;
ни свалить на Луну, перечисляя пятна,
ни на злую волю женщины или мужчину.

Кровь у жителей моря холодней, чем у нас; их куткий
вид леденит нашу кровь даже в рыбной лавке.
Если б Дарвин туда нырнул, мы б не знали "закона джунглей",
либо - внесли бы в оный свои поправки.

УІ

Капитан, в этих местах затонул "Черный Принц"
при невыясненных обстоятельствах". "Штурман Бенц!
Ступайте в свою каюту и хорошенько проспитеесь".
"В этих местах затонул также русский "Витязь".
"Штурман Бенц! Вы думаете, что я
шучу?" "При невыясненных обстоя..."

Неукоснительно двигается корвет.
За кормою - Европа, Азия, Африка, Старый и Новый Свет.
Каждый парус выглядит в профиль, как знак вопроса.
И пространство хранит ответ.

УІІ

"Ирина!" "Я слушаю". "Взгляни-ка сюда, Ирина".
"Я же сплю". "Все равно. Посмотри-ка, что это там?"

"Да где?"

"В иллюминаторе". "Это... это, по-моему, субмарина".
"Но оно извивается!" "Ну и что из того? В воде
всё извивается". "Ирина!" "Куда ты тащишь меня?! Я раздета!"
"Да ты только взгляни!" "О Боже, не напирай!
Ну, гляжу. Извивается... но ведь это... Это...
Это гигантский спрут!.. И он лезет к нам! Николай!.."

УІІІ

Море внешне безжизненно, но оно
полно чудовищной жизни, которую не дано
постичь, пока не пойдешь на дно.

Что порой подтверждается сетью, тралом.
Либо - пляской волн, отражающих как бы в вялом
зеркале творящееся под одеялом.

Находясь на поверхности, человек может быстро плыть.
Под водой, однако, он умеряет прыть.
Внезапно он хочет пить.

Там, под водой, с пересохшей глоткой,
жизнь представляется вдруг короткой.
Под водой человек может быть лишь подводной лодкой.

Изо рта вырываются пузыри.
В глазах возникает эквивалент зари.
В ушах раздается некий бесстрастный голос, считающий:
раз, два, три...

IX

"Дорогая Бланш, пишу тебе, сидя внутри гигантского осьминога.
Чудо, но письменные принадлежности и твоя фотокарточка уцелели.
Сыро и душно. Тем не менее, не одиноко:
рядом два дикаря, и оба играют на укалеле.
Главное, что темно. Когда напрягаю зренье,
различаю какие-то арки и своды. Сильно звенит в ушах.
Постараюсь исследовать систему пищеваренья.
Это – единственный путь к свободе. Целую. Твой верный Жак."

"Вероятно, так было в утробе... Но спасибо и за осьминога.
Ибо мог бы просто пойти на дно, либо – попасть к акуле.
Всё ещё в поисках. Дикари, увы, не подмога:
о чём я их не спрошу, слышу странное "худи-хули".
Вокруг бесконечные, скользкие, вьющиеся тунNELи.
Какая-то загадочная, переплетающаяся система.
Вероятно, я брежу, но вчера на панели
мне попался некто назвавшийся капитаном Немо."

"Снова Немо, Пригласил меня в гости. Я
пошел. Говорит, что он вырастил этого осьминога.
Как протест против общества. Раньше была семья,
но жена и т.д. И ему ничего иного
не осталось. Говорит, что мир потонул во зле.
Осьминог (сокращенно – Ося) карает жесткосердье

и гордью, воцарившиеся на земле.

Обещал, что если останусь, то обрету бессмертье".

"Вторник. Ужинали у Немо. Были вино, икра
(с "Принца" и с "Витязя"). Дикари подавали, скаля
зубы. Обсуждали начатую вчера
тему бессмертия. "Мисли" Паскаля, последнюю вещь в "Ля Скала".
Представь себе вечер, свечи. Со всех сторон — осьминог.
Немо с его бородой и с глазами голубыми как у младенца.
Сердце сжимается, как подумаешь, как он тут одинок..."

(Здесь обрываются письма к Бланш Деларю от лейтенанта Бенца).

X

Когда корабль не приходит в определенный порт
ни в назначенный срок, ни позже,
Директор Кампании произносит: "Черт!"
Адмиралтейство: "Боже".

Оба неправы. Но откуда им знать о том,
что приключилось. Ведь не допросишь чайку,
ни акулу с ее набитым ртом,
ни направишь овчарку

по следу. И какие вообще следы
в океане? Все это сущий
бред. Еще одно торжество воды
в состязании с сушей.

В океане все происходит вдруг.
Но потом еще долго волна теребит скитальцев:
доски, обломки мачты и спасательный круг;
все — без отпечатка пальцев.

И потом наступает осень, за ней — зима.
Сильно дует сирокко. Лучшего адвоката
молчаливые волны могут свести с ума
красотой заката.

И становится ясно, что нечего вопрошать
ни посредством горла, ни с помощью радиозонда
синюю рябь, продолжающую улучшать
линию горизонта.

Что-то мелькает в газетах, толкующих так и сяк
факты, которых, собственно, кот наплакал.
Женщина в чем-то коричневом хватается за косяк
и оседает на пол.

Горизонт улучшается. В воздухе соль и йод.
Вдалеке на волне покачивается какой-то
безымянный предмет. И колокол глухо бьет
в помещении Ллойда.

0000000

Б.ИВАНОВ: Наш тип вечера таков, что, хотим мы того или не хотим, предполагает дань воспоминаниям – не только высказываниям поэтико-литературного плана. Мне понравилось то, что говорил Виктор Кривулин. Я бы мог с удовольствием повторить некоторые его соображения. Я тоже буду говорить на тему: Время и Бродский, потому что это было так же время, в котором жил я.

Итак, по-видимому, шестидесятые. Многие, наверно, помнят замечательно яркого человека – прозаика и эссеиста – Рида Грачева. Он производил большое впечатление своими проникновенными импровизациями, нетривиальностью своих убеждений. Тогда, бесспорно, в горизонте литературы нашего плана он был человеком более заметным, чем Бродский, своей проповеднической активностью и университетской всеобъемлемостью. Бродский был тогда поэтом еще начинающим, только что закончившим поэму "Шествие", которую представил на суд Грачеву. Я так же получил возможность поэму прочесть. Рид Грачев проявил свое недовольство тем-то и тем-то. И я соглашался, что вещь не совсем удалась, хотя и местами – блестящая. Бродский, насколько помню, не принял критику /хотя поэму в свои книги никогда не включал/.

Прошло время и началась известная история с судом над Бродским. Это был первый опыт объединения либеральных сил для спасения поэта. Судилище было важнейшим драматическим событием в истории культурного движения страны. Почему? Именно он оказался в эпицентре конфликта : власть и поэт? Потому что Иосиф Бродский имел высокое представление о назначении поэта в обществе. Это высокое представление о поэте, возможно, он даже несколько культивировал в себе. И главное, бремя высокого предназначения он с достоинством пронес, пронес в обществе, где общее правило для всех –"не высовывайся". Для публики, собранной в зале суда, он был чем-то вроде опасного радикала и раздражающего ее чудака. Если человек заявляет о себе, что он "гений" – разве это не смешно!

Реплика: Он не говорил так.

Иванов: Я к примеру.

Кривулин: Он говорил, что есть человек десять или влсемь, которые делают поэзию...

Иванов: - Я не цитирую. Но вот выпад такого сорта: "Кто сказал вам, что вы поэт?"

Другое событие. Именно в защиту Бродского впервые составляется коллективное письмо.

Реплика: - Его подписали сорок девять человек.

Иванов: — ...Событие, до того времени небывалое. Помню комнату на Разъезжей, как в пылу спора, в тумане табачного дыма это письмо составлялось.

Поэт понес свой крест - и вовлек в свою судьбу других, возник мотив высокого соучастия. Здесь уже не только биография. Это уже история.

Вспоминается смешной эпизод. Письмо было распечатано. И я отправился с предложением письмо подписать к одному маленькому человечку, душа которого, как потом обнаружилось, соответствовала его росту. Сейчас он пишет о войне и говорит басом. Я пришел к нему и сказал: "Подпишите письмо, пожалуйста!" Он прочел, забеспокоился. Из затруднительного положения решила вывести его жена, она сказала, что дела у них и так идут плохо. Потом Коля Внуков - это был он - вдруг закричал: "Я не могу подписать письмо! Я не буду защищать человека, который ругается матом!" /Общий смех/. Вот ведь какой есть аргумент в пользу того, что человека можно судить!

Когда Бродского судили, когда его защищали, когда он жил в ссылке, когда мы продолжали говорить о нем, оставалось впечатление, что мы живем в гнусное, но при этом - в и о р - м а л ь н о е время, потому что ПОЭТ продолжал нести бремя романтического идеала поэта. Но когда он вернется в город и напишет "Разговор с небожителем", когда он скажет, что возвращает свой дар Богу, я вдруг пойму, что произошло что-то во времени чрезвычайно важное и трагическое. Обериутские стихи подтверждали, что этот идеал разгромлен. Наступил конец целой эпохи. Я впервые задумался о времени, в котором жил. Оно оказалось связанным через судьбу поэта с бытием важнейшими значениями экзистенциального смысла. Это была драма. Да, она случилась не со мной, мне же - и нам - предстояло осознать чужой опыт, обладающий абсолютной достоверностью. И я был благодарен поэту Бродскому за чистоту его жизненного эксперимента.

Проходит время, и я узнаю, что Иосиф Бродский собирается уезжать. С моей точки зрения его стремление было логичным. Случай предоставил мне возможность видеть Бродского накануне отъезда. Я встретил его у Аси Пекуровской. Произошел какой-то разговор. Мы расстались. Ночью думал об Иосифе и сочинил притчу. Её я потом включил в рассказ "На отъезд любимого брата". Притча такова. Человек вышел из дома для того, чтобы ради этого дома что-то сделать. Но когда наступил вечер, он задуманное сделать не сумел. Он мог вернуться домой, но честолюбие мужчины не позволяло прийти домой с пустыми руками. Он пошел дальше. И ночь застала его далеко от своего дома. Потянулись дни, — и человек уходил всё дальше, дальше, дальше... Наконец, наступил такой момент, когда ему стало ясно, — он достиг той точки, когда любое решение стало абсурдным. Не абсурд ли — вернуться домой, не достигнув цели? Не абсурд ли — и идти дальше, ибо, и одержав победу, физические границы жизни слишком тесны, — он уже не успевает домой вернуться. Ничуть не хуже на этой черте провести остаток жизни в размышлениях о бессмыслиности жизни... На следующий день я рассказал Бродскому притчу и предположил, что ему, наверно, придется жить там возвращаясь. Он согласился.

Вместе мы прошли по Невскому. Иосиф смотрел куда-то вдаль над головами прохожих. Я сказал, что собираю антологию ленинградской неофициальной литературы. Он сказал: "Вот, о чем я там буду жалеть — не сделал этого". И стал называть фамилии поэтов, которых обязательно нужно включить в антологию. И надо же, — около винного подвалчика /рядом с "Хроникой"/ мы встречаем Андрея Битова. Битов знал, что Иосиф уезжает. Я же не сомневался, что произошла встреча, может быть, самих замечательных писателей современной России. Встретились два человека, одаренных ясными представлениями о своем высоком призвании — и оправданными. Битов хотел сказать что-то значительное, но не управился с мыслями, неправлялся с их тяжестью. На трамвайных путях Литейного они попрощались, предположив, что обязательно когда-нибудь встретятся. Я не знаю, удалось ли им встретиться или нет...

Реплики: — Удалось! Встретились!

Иванов: — Я верю, что у незаурядных людей верными оказываются даже случайные проявления.

Несколько слов о высокомерии поэтов. Оно является, я сказал бы, важной структурирующей силой. Мы должны это высокомерие прощать, ибо оно — корсет, поддерживающий поэта, который как все ошибается и как все слаб и, в то же время, себя преодолевает. И не помогло ли оно Бродскому принести себя в жертву искусству! Он стал закланником Слова.

Когда я стал заниматься исследованием неофициальной литературы, по содержанию религиозной, я, к собственному удивлению, не обнаружил в ней образа Иисуса Христа. Место Иисуса Христа занимал образ поэта, художника. Судьба Бродского оказалась мифообразующей. Это странно. Это невероятно. Но каждый из нас может обшарить всю поэзию неофициалов и вы всюду встретите жертвенную фигуру поэта. Вот набросок к теме: Время и Иосиф Бродский.

Я. ГОРДИН:

Честно вам скажу, я не очень себе представляю, что говорить — по самым разным причинам. Во-первых, я знал и знаю Иосифа довольно давно, с 1957 года, у меня, может быть, самый длинный стаж знакомства с ним, но это ведь само по себе ничего не значит... В самом деле, заниматься сейчас мемуаристикой как-то странно. Очень любопытен этот механизм: прошло каких-то жалких 25 лет, а вот, Борис Иванович, уверяю тебя, что историю с Колей Внуковым ты рассказал не всю, какой она была — при том, что ты действительно давал ему подпись письмо. Он подписал его, я с тобой виделся сразу после этого, и я помню, что он написал. Он написал так: "С осуждением Бродского совершенно согласен, но о делах молодых, действительно, нужно поговорить". После чего, как ты мне рассказал, ты ему сказал: "Так милый, зачем ты это написал, это же письмо в защиту Бродского, при чем тут "согласен"?" Тогда он вымарал всё, так с вымаркой этой и существует письмо, и поставил свою подпись.

Мемуары — очень опасная вещь. Еще несколько голых штри-

хов, которые, если они когда-нибудь будут напечатаны, вероятно, будут нуждаться в некотором комментировании. Например, в первом биографическом докладе было сказано, что трех свидетелей прорабатывали сначала на писательском собрании, а когда это не удалось /там выступили Долинина и другие/, перенесли проработку в секретариат. Это не совсем так. Дело в том, что сначала был секретариат, а вот Долинина, Панич, Дар выступали через несколько месяцев после него /это очень важный момент!/ на перевыборном собрании, на том самом собрании, на котором Александр Андреевич Прокофьев из-за истории с Бродским снял свою кандидатуру.

По-моему, В.Кривулин тут совершенно справедливо говорил, что ситуация была гораздо сложнее, чем принято считать. Я занимаюсь историей, и в этом приходится постоянно убеждаться: современная ситуация бывает куда сложнее и многоаспектнее, чем это потом кажется через 20–30–100 и более лет. Сколько угодно иллюстраций этому. Борис Иванович, ты, наверное, прав со своей позиции, говоря о том, что Рид Грачев мог казаться более ярким человеком – я Рида любил и по сию пору отношусь к нему с глубоким уважением. Но... смотря для кого. Мне посчастливилось пересекать тогда обе эти группы – и Иосиф для людей, которые были близки ему... нет, не было никакого культа, скорее наоборот. Мы недостаточно ценили его, я иногда с большой горечью об этом вспоминаю... И были старшие товарищи Иосифа, до поры-до-времени, – Найман, Рейн, к которым он относился с большим почтением... Те замечательные интонации, которые поражали нас и поражают по сию пору в ранних стихах Иосифа, были уже в стихах двух названных поэтов. И Борис Абрамович Слуцкий относился к Иосифу очень хорошо. У Иосифа были стихи после того, как он побывал у Слуцкого и потом ночевал на вокзале в Москве. Но я не об этом хочу сказать. Ситуация была действительно сложней, чем может показаться.

Я, рискуя показаться занудой и педантом, должен все-таки сказать В.Кривулину, что, по-моему, на том знаменитом турнире поэтов в 1959 году /была придумана, уж не помню кем, по-моему, Обкомом комсомола, такая идиотическая форма – турниры поэтов,

где выдавались как бы призы, занимались первые места/... Бродский ничего на нем не получил. К стыду своему должен сказать, что второе место получил я, а первое место вообще никому не досталось.

... /пропущено 1-2 строки/.

Глеб Сергеевич... Что с ним случилось, мне до сих пор непонятно, и он мне никогда не мог этого объяснить. Потом они очень скоро помирились, у них были прекрасные отношения, и он Иосифа уважал... Но действительно, поэзия Иосифа действовала на людей удивительным образом.

/Просьба из зала: - Почитайте стихи!).

Нет, это совершенно невозможно, потому что по-настоящему читать стихи Иосифа никто, кроме него самого, не может. Он читал стихи совершенно удивительно, слов не подобрать, чтоб объяснить, как он читал. На моих глазах женщина, вовсе не склонная к истерии, упала в обморок, когда он читал "Польское знамя" Галчинского. Это необычайно " заводные" стихи, а он читал подавляюще. Дать представление о том, как он читал свои стихи, просто невозможно. Думаю, что магнитная пленка тоже его не даст, потому что в этом случае он знал, что читает на магнитофон. Мне случалось присутствовать при записи - это совершенно не то...

Я не могу согласиться с тем, что с поэзией Иосифа произошло какое-то разительное изменение. Естественно, что он всегда шел от этапа к этапу, и стихи в самом деле не похожи друг на друга. Скажем, ранние стихи 57-59 годов совсем не похожи на те, которые были потом. В первых стихах ("Пилигримы", "Гладиаторы") ничто не напоминает "Рождественского романса". (Кстати, "рекордным" его назвал не Хейфиц, а Анатолий Нейман).

Иосиф, действительно, постоянно чувствовал себя поэтом. Это было, очевидно, тяжелое мироощущение. Не нужно думать (здесь присутствуют люди, которые знали Иосифа не хуже, а то и лучше меня)... не нужно думать, что в этом содержалась хоть какая-то капля позерства - я убежден, что это была абсолютная органика. Иосиф вообще был очень естественный человек, поэтыму он мог, с одной стороны, обидеть, а с другой, быть необы-

чайно трогательным. На самом деле, он не умел вести себя, как положено, он вел себя так, как велось... Думаю, что это вообще черта великого поэта...

Мне было очень интересно то, что говорил В.Кривулин. Помоему, у него есть много очень точных наблюдений, в том числе теоретических, литературоведческих. Например, сравнение Бродского и Пушкина. Ведь и Пушкин, к которому так по-разному относились разные люди, тоже не умел себя вести, несмотря на то, что был высоко-светским человеком, органика его тоже подводила.

Кто-то из выступавших отметил, что почему-то именно "Вечерний Ленинград" вел себя по отношению к Иосифу особенно агрессивно. Понятно почему. Люди, которые организовали всё это дело, были связаны с "Вечерним Ленинградом", поэтому там и выступили... Кстати говоря, тут много забавных моментов. Так, человек, который непосредственно (как исполнитель, конечно) организовал всю эту кампанию и был одним из авторов фельетона некто Лернер - довольно вскоре после отъезда Иосифа получил 7 лет за мошенничество (присвоение правительственные наград, незаконное хранение оружия, спекуляцию квартирами и т.п.). Так вот, когда появился этот фельетон, мы встречались со всем известной Ольгой Чайковской. Она уже тогда занималась делами такого рода, и мы втроем с ней разговаривали... Иосиф перед этим поехал в экспедицию (он несколько раз ездил в экспедиции, в основном, на Дальний Восток) и вскоре вернулся. Чайковская его спросила, почему. А он сказал очень, на первый взгляд, странную вещь: "Знаете, я прочитал там книжку Баратынского, перед тем как нам лететь в поле, и подумал: "Поэт я, в конце концов, или не поэт? Почему я должен этим заниматься, когда мне нужно вернуться?"

Прилучка на себе судьбы Поэта была для Иосифа чрезвычайно важна. Он бросил работу, потом это поставили ему в вину на суде, доказывая его тунеядство, хотя перед этим он несколько лет подряд очень добросовестно работал, у него были прекрасные отношения с его геологическим начальством. Но вот он прочитал Баратынского - и всё бросил, уехал. И вовсе не потому, что

ему очень не хотелось ехать в поле и кормить комаров... Организма опять подвела - и его, и его работодателей.

Вообще, сама ситуация вокруг его судьбы, вокруг его процесса крайне любопытна - потому что, как всякому великому поэту, ему всё, в конце концов, шло на пользу. Тут говорили, что не вышла его книга. Известно, почему это произошло, но дело в том, что и очень хорошо, что она не вышла... Я хорошо помню эту книгу. На уровне Иосифа это была неважная книга. И я понимаю, почему сначала её так хотели издать. Иосиф, как мне кажется, не очень удачно её составил, и, тем более, ввиду того, что с ней могли проделать, ему совершенно не нужно было её выпускать. Она не вышла - и слава Богу! Тут судьба распорядилась, хотя он для этого не сделал ничего, нашлась совсем другая причина.

28 февраля 1968 года в Союзе писателей был вечер встречи творческой молодежи (я имел сомнительную честь его вести), который всем нам стоил недешево - и там, среди многих замечательных людей, выступал Иосиф. Потом на этот вечер был написан огромный донос, который официального хода не получил, но, тем не менее, был принят к сведению, - что сыграло, в частности, серьезную роль и в судьбе книги.

Так что действительно все шло на пользу. Иосифа пропустили через чудовищную мясорубку, волею судьбы всё это происходило на моих глазах, я как-то оказывался достаточно близко к этим ситуациям. Немного осталось в Ленинграде людей, которые были на этом печально-занеменитом суде, и я думаю, что все, кто там был, хорошо его запомнили. Это было одно из самых чудовищных впечатлений в моей жизни, при том, что мне пришлось побывать - вплоть до недавнего времени - ещё на ряде такого рода процессов. По своей наглости и безобразию это было что-то особенное: арест на улице, психиатрическая экспертиза, КПЗ без предъявления обвинения, два суда... - Этого никакая стенограмма не передаст!

В стенограмме нет этих шалер дружиинников, которые стояли по стенам и хватали каждого, кто как-то себя проявлял, закашлялся или что-то в этом роде... В частности, схватили и вывели

очень почтенного человека, седого, пожилого, который потом мне рассказывал, что его посадили в машину и повезли в отделение. Он говорил: "Я с восторгом ждал того момента, когда меня приведут и я предъявию им свой партийный билет с 1923 года!" К сожалению, его отвезли за угол и выгнали из машины, а дальше не повезли...

Теперь, сам отъезд, это тоже была непростая история, с большим потрясением для Иосифа. Так сложилось, что я видел его буквально через 20 минут после того, как он побывал в ОВИРе и получил предложение. Мы жили близко, и он зашел к нам сразу после ОВИРа. И тем не менее, все шло ему в результате на пользу. Жестоко говорить это о человеке с двумя инфарктами, двумя операциями на сердце, но тем не менее... Нам, простым людям (прошу прощения, если в зале есть люди, которые считают себя гениями или даже ими являются)... так вот, простым людям с этим справляться гораздо труднее - зато великие поэты, к которым принадлежит Иосиф Александрович, каким-то необыкновенным образом перерабатывают это в высокую энергию.

И еще один момент. Как распорядилась, в конечном счете, судьба? Лермонтов писал, что "есть Божий суд" - и это не риторика. Судья Савельева, которая вела суд, перестала быть судьей мгновенно, - она провела суд так плохо, что её сняли, и она пошла в юрисконсулы. Александр Андреевич Прокофьев, человек, который сказал "да" по поводу ареста и всей этой экзекуции, и от которого очень многое зависело... Должен сказать, что вообще ситуация всегда сложна, и в Союзе писателей всё было не так просто. Рискуя вызвать недоумение, могу сказать, что Прокофьев был совсем не такой уж плохой человек и делал очень добрые дела в гораздо более страшные времена, чем 1963 год. Он был человеком со своим благородством. Но, во-первых, действительность настолько была противопоказана ему... а во-вторых, его просто обманули - показали эпиграммы на него и сказали, что это стихи Бродского, хотя Иосиф не писал на него эпиграммы. Ну, и старик "зашелся" - но это стоило ему не только поста, но, между прочим, и жизни, потому что на перевыборном собрании, о котором я говорил, выходили люди - и только что

не плевали ему в лицо. Прокофьев сидел весь вечер красный, не подымая глаз, и в перерыве снял свою кандидатуру, даже не баллотировался в секретариат. Довольно вскоре он умер, потому что это было для него страшным потрясением. И я думаю, не только потому, что он обиделся, а и потому, что он что-то понял из происходящего.

Женя Воеводин, который здесь упоминался, был не просто свидетелем обвинения, он был представителем Союза писателей, в общем, довольно липовым — он был личным представителем Прокофьева... так вот, он вообще был человек совсем другого ранга, чем Александр Андреевич: спивающийся, разлагающийся, достаточно ничтожный... Он уже умер, но, тем не менее, я считаю, что имею право о нем это сказать... ему это тоже стоило очень недешево, потому что он, в некотором роде, подвергся остракизму, и до конца жизни чувствовал это клеймо. Ну, а Авраменко, вообще был дурак набитый, чего от него и ожидать? Так вот, где сейчас все эти люди, что с этими людьми?

А вот Иосиф Александрович — нобелевский лауреат, и будет печататься — с некоторым запозданием — в наших журналах, и наши журналы заинтересованы в том, чтобы он согласился в них печататься...

!!!!!!